

Владимир Морозо

Самурай. Рож  
День первый



Вла



# **Владимир Игоревич Морозов**

## **Самурай. Рождение.**

### **День первый**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=27348796](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27348796)*

*SelfPub; 2017*

#### **Аннотация**

Ушёл наш современник на недалёкую охоту и оказался вдруг в пограничье альтернативной России. Всё вроде бы как и у нас, но ведьмы – вот они, а также колдуны и знахари. Даже звёзды способны гасить недобрым взглядом. А ещё на этих страницах встретитесь вы и домового, и лешего.

Перед полуночью выглянул за ворота колдун-еретник. Зыркнул туда-сюда вдоль улицы из-под насупленных бровей глазами-буравчиками. Пусто на улице. Только у соседа напротив одно окно тускло отсвечивает.

Видно собрались в избе девки над свечками; сидят, гадают. Замуж им, девкам, страсть как хочется – вот и зовут, кликают силы неведомые, нечистые. Любопытно девкам подглядеть грядущее хоть краешком глаза. Интересно девкам знать: что за жених подвернётся и добра ли будет жизнь замужем.

Вышел колдун за околицу на розверти трёх дорог, встал посередке. Тёмный весь. В чёрных валенках, чёрной бараньей шубе, овчинная шапка по самые брови, даже сивая борода, и та как будто потемнела. Одни глаза в ночи и светятся.

Стоит колдун, слушает. Тихо в селе: утомонился народ и крещёный, и нехристи. Всяк свою подушку давит.

Лишь в дальнем конце у гаража молодёжь не успокоится. Девки тонко взвизгивают, парни что-то непотребное орут. Взыл на больших оборотах двигатель автобуса. Видно, собрались парни покуролесить в соседнее село.

Вроде и далеко гараж, а нюх у еретника не хуже волчиного. Вмиг засвербило в носу выхлопной бензиновой гарью.

Сверкнул колдун в ту сторону из-под лохматых бровей злобно, как шилом кольнул.

Тяжёл взгляд чародейца. Глянет искоса – и пиши пропало. Парное молоко, прямо из-под коровы, горячее ещё, и то скисает тут же. Чего там автобус.

Чихнул и захлебнулся двигатель. Искра в баллон ушла. Ни заведётся теперь до самых третьих петухов. Оно бы и ладно, езжайте. Глядишь, и сотворили бы какое ни-то непотребство, потешили некошного. Да уж больно вонько.

Дальше стоит колдун на перекрёстке, ждёт. И не знатко его, всего тёмного, в глухой ночи. Ждёт колдун; поглядывает по сторонам, на небо смотрит. Черно чисто небушко, лишь звёздочки перемигиваются. Много звёзд: столько же, сколько и людей на земле, да свету маловато.

Свет ночью единственно от месяца, а того ещё вчера ведьма скрала.

Спёрла, в крупитчатый мешок замотала и спрятала в подполье. Чтоб была святочная ночь страшная, темнее потайной чуланки. Чтоб не подсмотрел ненароком крещёный люд ихнего полночного гульбища с нечистой силой неведомой. Не помешал бесовским игрищам.

Стоит колдун на розвертях. Слушает: не вскрикнет ли где сорока, не нанесёт ли смрадом палёной шерсти, ждёт когда дохнёт в лицо леденящим холодом.

Вдруг улицу сзади светом обдало. Девки соседские вывалились и прямиком за околицу, на тот же перекрёсток. Видно упарились в душной избе, надумали поостыть да заодно и звёзды покликать.

Со свету да, в потёмки, — чего там разглядишь. Вот и прутся прямо на колдуна, не видят его, тёмного.

Хотел было чародеец сгоряча обернуть девок волчицами,

лет этак на семь, да поостерёлся. Слишком уж дело-то приметное.

Утром хватятся: милиция понаедет – криминалисты, эксперты всякие. Мороки не оберёшься. Плюнул в сердцах, так что снег зашипел и растаял, отошёл тихонько в сторону и в небо уставился.

В небе звёзды роятся, будто золотые пчёлки на первом вербном цвету.

«Ладно, красавицы, – думает, – ежели напрямую нельзя, возьму вас сызбоку!»

А девки – вырви ухо вместе с глазом, в угаре ничего не примечают. Прямо на распутье, на самую серёдку, блюдо с черёмными пирогами поставили, рожи румяные к небу задрали: заблажили, запричитали:

«Ой вы, звёзды, звёзды,  
Звёздочки!» – выводит одна самая горластая, а другие подхватывают, причитывают скороговорочкой:

«Все вы, звёздушки,  
Одной матушки,  
И румяны вы, и дородливы!  
Засылайте сватов  
По Святой Руси;  
Состряпайте свадебку  
Для мира крещёного,  
Для пира честного,  
Для красной девицы

Свет родимой

Зинаиды Васильевны!»

Голосят девки, так и прёт от них здоровьем и силой животной, да и от черёмных пирогов дух ядрёный. Ни одному мужику, парню ли, в сторонке не отстояться.

А еретник стоит, пришипился, звуку не подаёт, знай тычет себе пальцем в светлые звёзды – наводит порчу на человечество.

Известно всякому: рождается на Руси младенец – разгорается в небе звезда и светит, покуда жив человек. Здоров человек телом, крепок душой, – и звезда его светится ровно и ярко. Болезни подступают, старость ли, худая ли совесть гложет – гаснет звезда. Едва мизюкает иная. Смертушка придёт человеческая, вынет многострадальную душу из грешного тела – померкнет звезда, прочертив напоследок небосклон яркой чёрточкой.

Вот злодей и кудесничает. Прицелится в звёздочку пальцем, зыркнет недобрым глазом из-под лохматой брови и пальцем в звезду ткнёт. Будто из нагана выстрелит.

Звезда от этого мигнёт и слегка притухнет. Словно кто фитиль лампе прикрутит. А у человека в это время сердце прихватит, нога подвернётся, рука на руле дрогнет или ещё какая случится другая нечаянная горесть.

Дотыкался таки негодник пальцем, добился своего. Видно совсем плох был человек, едва душа в теле держалась. Вспыхнула звёздочка ярко, чиркнула над селом и пропала.

Не стало в округе кого-то.

Тут и девки неладное почуяли, стали озираться да оглядываться. Приметили колдуна и с визгом обратно в избу. Какие уж тут проказы. Ещё и вправду обернёт на семь лет волчицами. Много ли хорошего рыскать серой ночной тенью полями да пальниками, давить собственную скотинку, а днём прятаться по оврагам да буеракам.

За семь-то лет все подружки замуж повыходят, парни переженятся, кукуй потом свой остатний век в вековухах, братниных ребятёнков тетешкай. Да ещё доверят ли волчице-то.

Умчались девки, будто ветром сдуло. Только двери спели да засов состукал. И про пироги забыли. Так и стоит блюдо, прикрытое вышитой холстинкой.

Вышел колдун снова на розверти, духовитые пироги полотенцем обернул и сунул за пазуху. Блюдо швырнул в снег, в сторону. Завтра подберут кому надо.

Снова стоит ждёт. В чёрных валенках, овчиной шубе, чёрной лохматой шапке по самые брови. Одни глаза светятся в знобкой ночной тьме. Прислушивается.

Вот оно!

Стрекотнула вдали сорока, шибануло в ноздри кислой болотной тухлятиной, мазнуло по щекам ледящим сиверком.

Наползает с полей зыбкий туман, густой, что гороховый кисель. Гаснут на небе одна за другой, покрытые мраком звёзды.

Вздохнул колдун судорожно. Начинается!

Дальше наблюдать я не стал. Закрыв форточку и задёрнул занавески. Хрен с ним, с колдуном, моё ли это дело, чего он там вытворяет. Да и вообще, утром сам расскажет. А не расскажет, тоже не велика беда. Пирогов-то всё одно поедим. Пирожки-то, небось, черёмные, – сам вчера помогал соседу бычка резать.

Так что пироги непременно с телячьей требушкой. Кто-то, а уж ездаковская Галина пироги отменные стряпает. С мыслями о завтрашних пирогах я и полез на полати.

Вроде бы только лёг, на минуту веки смежил, а уже и ночь прошла, и утро за собой увела. Единственное, пожалуй, благо моего нынешнего существования – сон. Будто в яму проваливаюсь, едва голова коснётся подушки. Может чего и снится в это время, да не помню. Вся ночь как единый миг и утром голова ясная и чистая.

\*\*\*

Ещё глаза не открыл, а запах уже почувствовал – в избе и вправду ядрёно пахло пирогами. Я повернул голову и глянул вниз через щель между занавесками. Вчерашний свёрток лежал на столе. Морозливые узоры на оконных стёклах светились малиновым наливом, и я понял, что солнце всходит. То есть время едва-едва перевалило за девять.

Хозяин дома, несмотря на ночные выкрутасы, уже поднялся и сидел на табуретке посреди избы боком ко мне и смотрел в стенку. Медитировал.

Обычно я вставал гораздо раньше, ещё потемну: топил



печь, тащил воду с ключа, и к тому времени, когда приходил срок хозяйским медитациям, воздух в доме несколько нагрелся. Сегодня же было довольно-таки ощутимо прохладно даже у меня, в тёплом закутке полатей.

Но этот чёртов чародец, в одних линиях сатиновых трусах до колен, сидел в позе турка на голой деревянной табуретке и давил взглядом стену. Там, куда он смотрел, ровным счётом ничего не было. Я для верности тот участок раз пять, а то все шесть осматривал. Брёвна да мох между ними. Ни сучка, ни задоринки.

Со стороны казалось, что колдун пытается прожечь взглядом в бревне дыру, да что-то плохо у него получалось. Я, лично, месяца три уже наблюдаю это дело, но на бревне не то что щепки не убыло, даже и тёмного пятнышка не появилось.

Вообще, конечно, интересный мужик этот самый Юрка-колдун, мой хозяин. Правильно про него говорят – двоедушец. Ну да про то как-нибудь в другой раз, при случае и под настроение. Пускай себе медитирует, – занят и ладно, всё, глядишь, лишней работой не гнобит. Самое время мне разобраться в себе самом, в своей памяти или вернее жизни. Что, пожалуй, одно и то же.

Я плотнее завернулся в одеяло и уставился в дощатый потолок.

Прямо перед глазами на доске темнели два коричневых смоляных сучка. Видимо распилил прошёлся как раз близко к

сердцевине дерева, и потому сучки лежали на одном уровне симметричными косыми овалами. Вокруг них, как это обычно всегда бывает на досках, паутинистой сетью змеились следы годовых колец, мелкие трещины, какие-то невнятные царапины, топорщились задиры.

А я эти сучки будто впервые увидал. А может и на самом деле впервые, потому как и ложился, и вставал – всё потемну. Хотя, скорее всего дело не в темноте, скорее просто время пришло углядеть и вспомнить ещё одну частицу своей жизни, добавив и крупицу памяти. Так что скорее просто созрел, чтоб увидеть.

Балуясь неспешным течением утренней лени, я играючи представил раскосые сучки тёмными женскими глазами и внезапно вздрогнул в мгновенном ознобе. Куда подевались вся истома и вялость мысли, так как непонятность паутины заусениц, трещин и царапин сложилась внезапно в ясную картину. Вернее портрет. Хотя куда уж там вернее, будто портрет, это не картина.

Словом, я отчётливо увидел широкий разлёт бровей над глазами сучков и прямой, с едва заметной кривизной, удлинённый нос. Царапины сами собой сложились в прорисовку мягких губ и очертили не по-женски твёрдый подбородок. Извивы годовых колец легли непокорными прядями рыжих жёстких волос.

Волосы были рыжими и жёсткими на ощупь, будто шерсть сохатого. Я знал это точно. Знание, уверенное и твёрдое, по-

явилось в тот самый миг, лишь только сложился рисунок. Мало того, я знал женщину, чьё лицо было изображено на этом своеобразном портрете. Знал довольно близко. Руки и по сей час помнили жилковую грубость завитков цвета ко-  
стрового пламени в ночном тумане, но вот на вопрос, где я встречал её, когда, и кто эта женщина, в моей бедной голове не было ни малейшего не только ответа, а и намёка на него.

Вообще, с памятью у меня была серьёзная проблема. До сих пор. Первое время совсем не соображал ни кто я, ни откуда, ни как тут очутился. Тем более уж не в состоянии был отличить здесь от там.

К тому времени, о котором идёт рассказ, я уже мог ответить, кто и откуда. Оставалось – как. Все попытки понять это «как», вспомнить, разобраться, выстроить по порядку во времени, взяли в каком-то глухом, тягучем как подсыхающий глинистый просёлок, резинистом киселе. В туманной той, серой непроходимости плавали какие-то неясные образы, что-то напоминали, навевали какие-то смутные ассоциативные видения.

Это было как сон наяву. При белом свете, с открытыми глазами. Я уже было и рукой на себя махнул, чебурахнулся, – думал, – со всех тех перипетий, что подбросила мне судьба.

То я видел себя серым зайцем посреди ржаного поля, накрытого жестяным тазом грозовой полуночи. Не только видел, но и чувствовал на зубах скользкую молозивную сытность наливающегося зерна. В то же время я ещё и беспри-

зорный дворовый пёс, дворовый – в смысле беспородный и блудный, и наблюдаю за тем самым зайцем, то бишь за собой самим же с краю того же самого грозового поля тревожной ржи. И одновременно с молозливym вкусом зелёного семени, ощущаю гортанью трепет живого ещё куска горячей и терпкой заячьей плоти. Но самое главное – запах. Причём, всё это: и молозливый вкус, и горячий трепет на фоне неистребимой вони прокисших макарон.

В то утро, когда привиделась мне этакая хреновина про зайца и дворнягу, дурманящий запах крови чувствовался на языке весь день. А тут ещё и лицо, чем-то неразрывно связанное и с зайцем в цветущей ржи, и с бродячим псом, и с безумством ночной грозы. Не говорю уже о макаронах. Их кислая вонь преследовала меня и средь белого дня.

Я уже догадывался, что рисунок не отпустит, пока не вспомню, что это за тётка, и откуда мои ладони помнят ощущение её волос. Потому, самое лучшее, что я мог придумать, это начать выстраивать всю цепочку событий с самого начала.

А началось всё в сентябре. Вот только не знаю, до сих пор не знаю в каком: в эту осень, год назад или пять лет. Хорошо, хотя бы прошлогодним...

Прервав мысли, стукнула щеколдой калитка ворот. Во дворе за окном проскрипел снег под валенками. Гулко бухнули доски крыльца, отзываясь на удары. Шелестяще шоркнул веник. Скрипнули половицы в сенях, и дверь в избу рас-

пахнулась, впустив облако густого морозного пара.

Мне-то чего, я на толстом сенном матрасе да под ватным одеялом. Потому только голову повернул набок, в просвет под занавеской гляжу на своего хозяина-колдуна.

Наблюдаю.

Гость шагнул в избу, притворил дверь. Морозный воздух хлынул к окнам, торопливо огибая неподвижную фигуру на табурете. Хозяин мой, как сидел, так и остался – ресницей не дрогнул. Знай, дырявит взглядом злополучное бревно. Я тоже молчу, – а ну как там участковый или кто из сельсовета? Дыхание притаил. Пускай, мыслю, тот, кого принесло, думает, что меня совсем дома нет. Пускай, соображаю, думает, что я в лес ушёл или в магазин за хлебом. Лежу себе, пришипился. Хотя по походке, дыханию и манерам уже почти догадался, что гость этот утренний – Ездаков. Тот самый сосед, единственный, кстати, на все Выселки, которому я вчера помогал колоть телёнка.

Да ведь бережёного и Господь бережёт, а не бережёного конвой стережёт, потому лежу, молчу.

– Слышь-ка, Юр, – сказал пришелец ездаковским голосом вместо приветствия, – глянь каку я нашёл штуку.

Колдун сморгнул и повернул голову. Я тоже, осторожно, чтоб не скрипнули доски полатей, выглянул вниз. Там и вправду стоял Ездаков и держал в руке каменюку величиной с ребячий кулак.

Впрочем, сейчас, самое время увести наше повествова-

ние чуть в сторону и поведать с самого начала историю этого камня и связанных с ним ездаковских волнений.

\*\*\*

В последнее время стал примечать Василий Григорьевич Ездаков в своем хозяйстве некоторое беспокойство. Хотя если уж быть точным, то, пожалуй, наоборот: не беспокойство, а порядок. Не тот порядок, когда всё по ниточке и ранжиру, а совсем другой. Покой и чинность какие-то появились, во всём хозяйстве, вернее то самое, что называется старинным словом лад.

Возьмём для примера грабли. Раньше Ездаков на них раз в неделю наступал обязательно. И получал точно так же регулярно. Когда по лбу, когда по уху, а повезёт, так и по носу. Поднимет, бывало, инструмент, поставит в угол, нет, вскорости опять на полу валяются. Опять на лбу шишка, ухо пельменем или нос всмятку. А тут, который месяц висят грабли на стене и под ноги не попадают.

Или тот же гвоздь. Лет восемь назад, при коммунистах ещё, когда хлев был ещё почти новый, прибил Ездаков этим гвоздём вертушок. Чтоб закрывать дверцу в курятник. Вертушок всего месяц и продержался, отверюхали. Да и надобность в нём отпала. Дверцу в курятник так перекосило, что и без вертушка приходилось двумя руками открывать.

Вертушок пропал, а гвоздь остался. И не упомянуть, сколько порвал Ездаков рубах и фуфаек, пока не удосужился загнуть тот злосчастный гвоздь. Но гвоздь, и загнутый, то и

дело цеплялся за рукав, и это стало привычным.

Не то чтобы не хватало у Ездакова толку взять клещи либо плоскогубцы и выдрать тот гвоздь к едрене-фене. Дело-то минутное, да руки не доходили всё как-то. Всегда почему-то подвёртывались дела поважнее.

Да и впрямь: семья-то не маленькая. Старшие девки всю с парнями хороводятся, и младшие парни подрастают. За всеми глаза да глазки. Хозяйство тоже немалое развёл; для неё же всё, для семьи. С темна до темна крутишься, до гвоздя ли.

А тут пропал гвоздь и всё. И как будто чего-то не хватает. Непонятно, что ни говори, и от того тревожно.

Осмотрел Ездаков косяк, ощупал. Дырка от гвоздя вот она, а самого нет. Голову поднял, искал, пошарил глазами. Нашёл. Лежит гвоздь на косячном столбике. Мало того, что выдернут, ещё и выпрямлен. Хоть сейчас в дело: прибивай какой ни-то очередной вертушок. Взял Ездаков гвоздь, отнёс на верстак, положил в банку с другими использованными гвоздями.

Гвоздь положил, а сомнения остались. С той поры и начал приглядываться. И много стал примечать необычного.

Главное: везде и во всём прибыток. Зима за половину, а куры, тьфу-тьфу-тьфу, все до единой целы и яйцами завалили. За яйцами из села не в ближний магазин ходят, а на Выселки, к нему, Ездакову. С молоком – та же история; залила стельная Зорька. Свинья толстеет как на дрожжах. Но ос-

новное – сено. Вроде и не убывает, хотя раньше были только корова да овцы, а сейчас ещё и кобыла.

Кобылу Ездаков уже по застылку присмотрел на мясокомбинате. Но это совсем другая история, хотя и имеющая к селу непосредственное отношение. Поди, не будь кобылы, и гвоздь был бы на месте. Всё так же цеплялся бы ещё не один год. Но история кобылы – это как бы предыстория гвоздя и сена. Пролог, если выражаться языком школьных учителей и литературных критиков. Нам до критиков дела нет абсолютно, потому про кобылу когда-нибудь позднее, если, конечно, не забудется или не подвернётся что-нибудь более важное и значительное. А пока вернёмся к селу.

На сене-то с одной стороны всё прояснилось, а с другой запуталось ещё больше. Чудно как-то стало и, пожалуй, жутковато. Словом, обратил Ездаков внимание, что сено у него как бы и не убывает. Мало того: сенокос ездаковский испокон веку в сельской поскотине. Место там тощее и косил Ездаков в основном таволгу-лабазник, жёсткую осоку, да стеблистый вейник. Но ничего, скотина сенцо ела и хоть и не жирела, но и с голодухи к весне не падала. А тут, как-то понёс Ездаков кобыле сенца, а у той в кормушке уже полно, и сено чужое.

Хорошее сено, тяжёлое, с клеверком и тимофеевкой. Такое брали на заливных колхозных лугах, и решил Ездаков вполне естественно и не без основания, что пару охапок для кобылёнки насобирали по обочинам или надёргали с воло-



куш младшие парни.

Колхозники таскали сено на ферму волокушами, и по обочинам можно было насобирать при желании не одну охапку. Да и выдернуть из волокуши клочок-другой не грех. От большого немножко — не воровство, а делёжка.

Чужое сено было и у Зорьки. Но уже явно не колхозное. Сено в зорькиной кормушке пахло горячей земляникой и зеленыю пряной душицы. И спецом не нужно быть, чтобы определить, что кошено оно лесником на Дальних вырубках. Дети у лесника давно выросли, своё сено хранил он во дворе, так что ездаковские ребята были совершенно не при чём.

Тут-то впервые и осенила Ездакова догадка, совершенно жуткая по своей нелепости. От той догадки, будто коркой мёрзлой грязи стянуло кожу на спине от лопаток до крестца и Ездаков впервые перекрестился. Неуклюже, неумело; сикось-накось, но перекрестился.

Догадку эту, Ездаков, как человек волевой и, безусловно, мужественный постарался запинать в самый тёмный и глухой закуток своего подсознания. Но, входя в хлева, с той поры озирался, внимательно оглядывая стойла и закутки, подолгу всматриваясь в мрачную темень сеновала.

Так и углядел он на третий день камень. Камень висел в тёмном углу над куриным насестом на какой-то позорной мочальной завязке. Ездаков, в действиях мужик решительный и последствий совершенно не боящийся, в сердцах сорвал камень. Это был обыкновенный плоский голыш тём-

но-серого цвета величиной в половину ездаковского кулака. Ездаков сунул камень в карман телогрейки и вечером за ужином устроил семейный совет.

Совет, как это случалось и раньше, произвольно вылился в некий симбиоз партийного собрания и следственного допроса с пристрастием. В результате ужин был единогласно перенесён на завтрак. Жена весь вечер грохотала на кухне табуретками и дверцами шкафов, девки, то белугами ревели в своей комнате, то презрительно шествовали мимо, демонстративно, словно знамёна, пронося свою обиду и красные заревленные носы. Младшие остолопы весь вечер пилились с дивана в телевизор и молчали как партизаны.

Зато Ездаков узнал доподлинно: камня никто из них не вешал. Тем более на мочальной завязке.

Утром две лучшие несушки валялись на заляпанном помётом полу курятника и головы у них были отъедены. Несушек Ездаков убирать не стал. Вечером насторожил он вокруг дохлятины полдюжины крысиных капканов и на всякий случай привязал в хлеву гончака Рыдая.

На следующий день Ездаков понял, что лишился ещё двух несушек. Капканы были аккуратно схлопнуты, а Рыдай, тот самый неугомонный в охотничьем азарте Рыдай, что по полдня держал лосей а кабанам-секачам в горячке погони за-просто откусывал хвосты, лежал в углу, виновато понутив, голову.

Затоптанная было, догадка выползла из подполья на свет

Божий и переросла в твёрдую уверенность. Спину снова стянуло морозным ознобом, но теперь уже от копчика и до самого затылка. Так что под шапкой зашевелились волосы. Развернулся Ездаков как стоял, на одном месте, дверь в скотник осторожно прикрыл и напрямик к соседу напротив.

Ездаковский сосед был человеком нелюдимым, любил одеваться в чёрное и слыл в окрестностях крупным специалистом по аномальным и сверхестественным явлениям. То бишь, говоря языком простого нормального народа – обычным колдуном. Согласно паспорту, выданному районным отделением милиции, звали ездаковского соседа Юрием Никифоровичем Мозжухиным.

С ночи в хибаре соседа было довольно-таки прохладно, но тот в одних чёрных трусах до колен, сидел в позе турка на голой табуретке и смотрел на стену.

– Слышь-ка, Юр, – глянь, каку я нашёл штуку, – привычно вместо приветствия заявил Ездаков и вынул из кармана ватника камень.

Сосед искоса влоботорота глянул на Ездакова и его находку. У художников подобный взгляд называется «три четверти» и используется для выражения злобности и дикой затравленности.

– Куриный бог, – внятно проговорил знаток, не разжимая губ. – Где взял?

– В курятнике, на лыковой верёвке, – смущённо хихикнул Ездаков.

Сосед опустил худые жилистые ноги на пол и в упор посмотрел на Ездакова. Долго так посмотрел, тягуче. Неприятный у соседа взгляд. Не то чтобы тяжёлый, просто ознобистый какой-то. У Ездакова пальцы правой руки сами собой сложились щепотью и потянулись ко лбу. Ладно руку вовремя тормознул, сунул кулаком в карман штанов от греха подалее.

– Повесь обратно, – сказал сосед естественным человеческим образом. – И прощения попроси. Объясни, что с дуру нарушил, по недомыслию.

– А не повешу? – заартачился было Ездаков; все-таки курятник-то его собственный, с какой стати соседу в нем распорядиться, будь он хоть трижды экстрасенс-чудотворец.

– Хозяин-барин, – Мозжухин отвернулся, опять угнездилился на табурете с ногами и уставился на задернутое инеем оконное стекло. Поняв, что аудиенция окончена, Ездаков сунул свой курячий камень в прежний карман и вышел на улицу.

В тот же день навёл Ездаков крупный шмон в сельской библиотеке, перешерстив все словари и энциклопедии, что имелись в библиотечной наличности. Он узнал про куриную слепоту, куриный мор, куриное просо и даже куриного клеща. Про бога не было и намёка. Видя ездаковскую маету, библиотекарьша Валентина, когда-то учились Ездаков с Валентиной в одном классе и сидели чуть ли не за одной партой, предложила позвонить в район. В районную, де, библио-

теку прислали Брокгауза и Ефрона – какой-то новоизданный словарь времён царя Гороха и войны с грибами.

Допотопный Ефрон про куриного бога знал доподлинно и объяснял его камнем с дыркой, похожим на человеческую голову. Камень тот, якобы защищал курей от кикиморы. Это был полный отпад и абсурд, но Ездаков как-то вдруг сразу успокоился и смирился.

Бог, так бог.

Куриный, так куриный.

Чего там голову ломать: не тобой повешено, не ты и снимишь.

Дома он повесил камень на ту же самую лыковую мочалку, мотнул шапкой, как бы кланяясь, и пробубнил скороговоркой:

– Суседушко-батюшка, прости ты меня, неразумного. Не со зла я, а по недомыслию, – и ещё раз мотнул шапкой.

Тут же гуркнуло что-то под поветью, тенькнули металлом вилы в углу, шуркнуло сеном на сеновале. Вот тут-то и скоробило ездаковскую спину морозной грязью в третий раз за какие-то два дня.

Так скоробило, что заныло-завибрировало в низу живота, где по утверждению спеца-соседа хранится и накапливается сила человеческого духа, которую на востоке называют «янь».

Ездакова от этого нового ощущения даже согнуло. Так согнутый, пятясь раком, он и выполз во двор.

Снова в скотнике Ездаков появился только к вечеру и повесил в хлевах две дополнительные лампочки. По сто пятьдесят ватт каждая.

На следующий день все куры были целы, Рыдай весел, будто трёхмесячный щенок, а грива у кобылы заплетена мелкими косичками.

И ещё раз пережил Ездаков волнение, подобное описанным выше, может разве что чуть слабее, так как дело обошлось без мороза по коже, а может и не заметил, потому что и без того зазяб до зубовного чаканья. Хотя, впрочем, и привычка могла сказаться. Что там ни говори, а большое дело – привычка. Без поэтов знаем.

Где-то дня через два или три, вечером после ужина вышел Ездаков в сени, выкурить обыденную папироску. На дворе слегка морозило и он, тепло одетый в полушубок и валенки, стоял в сенях, и, пуская струйки синеватого дыма, мечтал, что вот-вот опоросится свинья, потом отелится корова.

Телка так и так держать до зимы, а вот поросят ни к чему. Покормить до лета и на базар. И потому не мешало бы приобрести морозильник.

Стоял Ездаков, курил, крутил свои неторопливые мирные хозяйские думы, смотрел во двор через заиндевелое стекло.

Смотрел скорее даже не в окно, чего там увидишь во дворе необычного, а в самого себя, в свои спокойные плавные мысли, но всё же сумел узреть краем глаза какую-то тень.

Тень мелькнула через двор и скрылась за дверями скотника. Кто это был, Ездаков, занятый своими мечтательными мыслями, сквозь морозные разводы определить не смог, но затаил дыхание и прислушался.

Скоро с сеновала донеслись шуршание и невнятный разговор. Кто говорил и о чём, было непонятно, но голоса показались, странно знакомыми.

«Девки! – ожгло озарение. – Старшие девки с сельскими парнями на сеновале! Ну, я вам сейчас, сучкам мокрохвостым!» – Задохнулся Ездаков охотничьим азартом. Схватил в углу верёвку, скрутил её жгутом и сунулся было во двор, да остановился. Вернулся в сени, скинул полушубок, валенки и как был в рубашке, тонком трико и магазинских носках, осторожно прокрался по двору к сараям.

Прислушался.

– А ты, этот, как его, лишенец, вообще молчи. Твоё место в похлёбке. Во-первых, чёрен, во-вторых, стар. Шесть лет уже небо коптишь. Дай тебе волю, так на будущий год яйцо снесёшь и змея высидишь. На хрена нам с Василием Григорьевичем экая головная боль? Ну да ничё, я тебя нонешним же летом изведу, а хозяин другого заведёт, породистого, – степенно выговаривал чей-то до жути знакомый голос.

– Но-но-но, изводитель, тоже мне нашёлся, – возразил первому голосу второй и Ездаков с изумлением узнал своего петуха. Петух был и в самом деле стар и чёрен пером до синевы.

«А чего это он про змея-то, – мелькнуло у Ездакова, – надо, пожалуй, сходить в район, заглянуть в Брокгауза или к соседу зайти. А вернее и туда, и сюда», – решил Ездаков и снова прислушался.

– Е-е-ещё и лишенцем обзывается! – продолжал петух. – А сам-то где был, пупырь мохноногий? На готовенькое-то все вы мастера.

– А чё мне здесь раньше делать было? Кого призывать, тебя, что ли? Сейчас же совсем иной коленкор: и курочки, и овечушки, свинка послезавтра опоросится, через месяц коровушка отелится. А главное – кобылка! На следующий год, глядишь, и жеребёночком обзаведёмся. Хозяйство самое всамделишное: за всем догляд нужен и призор. Василию Григорьевичу одному где успеть, а вместе-то мы много чего наворочаем.

– Ну и шёл бы к Варакиным, – не унимался кочет, да и как уймешься, когда прочат тебе близкую кончину в похлёбке. – У Варакина тоже корова, свинья, куры и овец больше. Чего сюда припёрся?

– У Варакина лошади нет. И вообще ни у кого поблизости нет, кроме как у Василия Григорьевича. Так куда ж мне больше идти? – терпеливо объяснял петуху тот самый, первый голос, что был невесть откуда очень знаком, – Без лошадки я дуреть начинаю и это, как его, безумствовать. А к Варакиным я, бывает, в гости захоживаю. У него, у лесника Варакина, сено хорошее. А больше хорошего и нет ничего,



да к тому же ещё и баба. Баба у него, у лесника-то, не к ночи будь помянуто – ведьма. Мне с ней в жизни не сладить. Её, лесникову-то бабу, даже лешак Афанасий, тот что на Дальних вырубках, обходит сторонкой. С ней, с ведьмой, свяжешься – себе дороже.

Не больно-то весело полуголому да босому на январском снегу. Ноги совсем заколели и Ездаков переступил. Снег хрустнул под пяткой.

– Ну, разболтались, – глухо проворчал, словно пролаял третий голос и Ездаков уже без удивления признал Рыдая. – Хозяин-то за стеной стоит, слышит всё.

– Что же раньше молчал, сукин ты пёс, – хрипло прошипел самый первый голос, тот, что до сих пор не был признан. – Это какая же Василию Григорьевичу душевная травма: у бывшего партийного работника в хозяйстве завёлся домовый!

– Ни хрена с ним не сделается. Сейчас домой придёт, тыпнет стакан магазинской и всё абгемахт, – зевнув, по-мужицки подвёл черту кобель.

Заполошно ударил на насесте крыльями петух, попытался было что-то проорать, да поперхнулся и обиженно замолк. Ездаков постоял, подрожал ещё секунд пятнадцать, но разговоров больше не было. Слышалось, как возились на насесте куры, меланхолично жевала корова, да гончак, чувствуя хозяина, радостно пристукивал хвостом по доскам настила. Пальцы ног начали примерзать к утоптанному снегу дорож-

ки и Ездаков, отбросив всяческую опаску, большими прыжками помчался в избу.

Как было сказано, так и сделал. Сунул в стакан солёный огурец, ткнул в зубы горбушку чёрного хлеба и, прихватив бутылку «Русской», забрался на печь. Первый стакан прошёл как вода: ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Ездаков отломил от горбушки кусочек, понюхал его и налил второй. Было приятно сидеть и ощущать, как тепло печных кирпичей и выпивки истомой расплывается по телу. Но вдвойне приятнее было то уважение, с которым владелец неупомленного пока голоса называл Ездакова.

Не он, не Ездаков и не хозяин, а именно Василий Григорьевич! Уважительно и с дистанцией. Не то что этот обормот – Рыдай: нахватался у заезжих охотничков, думает, если на охоте запанибрата, так и всё можно. Обидно. И Ездакову ещё крепче приспичило обналичить, чьим же это голосом владел домовый-суседушка.

Лишь захрумкав остатками огурца последние полстакана, которые нацедились ещё из бутылки, вспомнил он, что слышал тот знакомый голос по радио.

Это было когда приезжала из района корреспондентка и в числе прочих записала на плёнку и Ездакова.

Голос-то был его, ездаковский!

«Е-моё!» – только и успел подумать Василий Григорьевич, как-то моментально опьянев и проваливаясь в тихий покой сна.

\*\*\*

Снова скрипнула дверь избы, дохнув морозливым туманом, прохрустел снег во дворе, стукнула щеколда калитки.

– Дурак, ну дурак, – пробурчал хозяин, не разжимая губ. Голос его доносился как будто из сутного угла, там где у нормальных людей расположена божница с иконами и склянницей лампадки. У нас же вместо иконостаса в углу висел, до черноты засиженный мухами портрет какого-то деятеля в сюртуке с глухим воротом и полотняном картузе с высокой тульей, донельзя похожий на советского мученика и страсто-терпца Сергея Мироновича.

– Наведёт ведь беду со своим петухом, накличет нечисть на Выселки, всей округе достанется, – продолжил вещать портрет.

Но меня-то не проведёшь. Чай не первый раз вижу такое дело. Это только поначалу ошарашивает, а когда пообвыкнешь, да приглядишься, – заметишь как вибрирует при каждом звуке кожа на гортани чудодейца.

Так что, не купишь за рупь-то двадцать. Да ведь не для меня это он – я для него вещь обычная, домашняя, вроде как табурет, стол или кочерга у печного угла. Чего ему меня удивлять, так это он, для тренировки, для поддержания квалификации.

Чревовещатель, наконец, опустил ноги на пол, коснулся стопами половиц и поёжился.

– Эй ты, ластоногий, – фыркнул он в мою сторону – Печь

за тебя кто топить будет? Пушкин с Лермонтовым?

– Неужто они у вас тоже были? – притворно удивился я, ужом выползая из-под дурманящей ватной тяжести, потому как термин «ластоногий», обозначающий в языке чудотворца тюленя и как животное, и как символ беспробудной лени, предназначался явно не кому-либо другому.

– И Пушкин был, и другие были, тебя только впервые занесло на мою голову, – как бы нехотя, сквозь зубы, дабы показать своё хозяйское недовольство, буркнул хозяин, скрываясь за дверью на свою, чистую, колдовскую половину.

Сейчас, по ходу повествования, пожалуй следовало было рассказать о нашем домашнем устройстве, описать избу, поделенную дощатой перегородкой на чистую, хозяйскую, и грязную, кухонную, то есть мою, половины. Рассказать о дворе, обнесённом по периметру клетями, амбарами и дровяниками, о высоком заплоте ворот, да прав хозяин, с ночи-то, мягко говоря, холодновато. Пора печку прогреть.

Начинался, пусть и поздненько – праздник ведь как-никак, – день, продолжалась жизнь, а с нею и нескончаемый круговорот моих обязательных дел и делишек бессменного домашнего работника. Чуть было не сказал раба, да вовремя одумался.

А баба-то как, русская? Неужто повернётся язык назвать рабыней святую эту труженицу, что в хлопотах от зари до зари? Вот язык не поворачивается, а ведь по сути дела – истинная раба, рабыня дома своего, мужа, детей, скотины, –

она, любая деревенская тётка-стряпуха. А вместе с ней, получается, что и я тоже, за компанию. Потому как вся мелкая ли, крупная домашняя работа: в избе прибрать, похлёбку сварить, двор от снега очистить, дров наколоть, воды принести и ещё многое, многое, многое другое. Всего разом и не упомнишь, и всё на мне.

Рассказываю это вовсе не для того, чтобы поплакаться в жилетку, а чтобы яснее была суть моего положения здесь и наших с хозяином взаимоотношений. И, чтоб не возникло превратного понимания, а, следовательно, и недопонимания сути происходящего, окавычу сразу: все эти, так сказать «рабские» обязанности я взял на себя сам. Почему? Причин можно привести массу. Например, из благодарности за гостеприимство, или в качестве уважения общественного статуса владельца дома, да хоть как ученик, подмастерье или младший брат, наконец. Младший не потому, что меньше прожил годов, хотя и тут разница была лет в десять, а то и все двадцать, а по способности ориентироваться в обстановке этого мира, где я делал первые осмысленные шаги, то есть был по сути дела младенцем. Ради сути дела следует заметить также, что был мой колдун знатоком не только того мира, где мы встретились, но и полудесятка других. Так что я бы попросил не обманывать себя ложными выводами и не ждать от меня революционно-классовых речений и манифестов, а также дикого разгула народного восстания, чего-нибудь в духе Спартака или очередной пугачёвщины. Ибо гла-

сит текст одной из древнеславянских книг моего наставника и учителя, хозяина то есть, в наставление государям: «Имейте рабы свои, аки братия и рабыни аки сестры себе, яко и те семя адамле суть». Так что не удивляйтесь, когда я и дальше в своём повествовании буду называть своего колдуна хозяином.

Привычка, знаете ли.

Перво-наперво следовало затопить печь. Дровяная кладка в топке была сложена уже с вечера. В боку её, под смоляным сосновым поленом торчал завиток бересты. Оставалось чиркнуть спичкой, подпалить берестяной лоскуток и проследить, что бы пламя не стухло, пока не заберётся на поленце, пока не начнёт воркотать и пузыриться смола на его боку.

После этого можно было и умыться, если, конечно, есть вода в рукомойнике. Вёдра к утру, как правило, бывали уже не только пусты, но и сухи. Нет водички, значит не мешкая, ноги в валенки, ватник на плечи, вёдра в руки и айда на ключ.

Пять сотен шагов туда, да столько же обратно, – вот тебе и физкультурная зарядка. Ни руками махать, ни ногами дрыгать, ни коленки сгибать, приседая.

Сосед Ездаков – парень с размахом – придумал рацуху. Прямо в подполье пробуравил землю трубами, насос поставил и качает себе, не выходя из кухни. Пять раз ручкой дёрнул – ведро, десять – два.

Я колдуну своему предлагал такую же штуку учинить, да

тот лишь рукой отмахнулся, будто от осенней мухи.

— Баловство, — говорит, — это. Ближе к природе, — говорит, — надо быть, к естеству, то есть.

Поворчал я было первое время: тебе-то, мол, чего, легко, конечно, рассуждать. Не ты, мол, руки вытягиваешь за полкилометра таская, а потом согласился. К естеству, так к естеству, Привык и сейчас даже удовольствие нахожу.

Велика ли важность сбегать разок, ведь и надо-то на всё про всё пару вёдер. Это Ездаков за день поди без малого цистерну выкачивает. Ему парой вёдер никак не обойтись: и семья большая, и скотины полон двор. А у нас всей скотины — единственный кот Парамон. И я налил коту в плошку молока из кринки на столе.

Пока ходил за водой, вернее, по воду, потому как за водой пойдёшь, вряд ли воротишься, огонь в печи обрушил кладку и поленья раскатились. Пора было поработать кочерёжкой и я сгрёб головни в кучу, предварительно поколотив их как следует по обугленным бокам. Это чтоб горели повеселее.

Глядя как подлизывает пламя закопчённый верх печного устья, я уцепил пирожок из под рединки на столе и разломил его пополам. Я уже говорил, что хозяйка ездаковская, Галина, — стряпея отменная. За что ни возьмётся, всё получается. Пироги — не исключение.

Даже огибка была в меру суха и, хотя откусывалась с легким хрустом, мягко крошилась на зубах. Требуха, запечённая в ржаном тесте, пахла детством, и я воочию увидел, как

моя старая нянька Парасковья вынимает на соломенно-жёлтой деревянной лопате из чела русской печи округлую ковригу ржаного хлеба. Как оглаживает каравай упругим гусиным пёрышком и, прикрыв холщёвым полотенцем, ставит на добела скоблённые доски столешницы. А по дому властно расплывается жизнеутверждающий ржаной крестьянский дух.

Откуда было это видение, из какой жизни, и с чего бы это мне было иметь няньку в деревенской избе, да ещё свой, не покупной хлеб, я и не пытался уразуметь. Видение как видение, и побольше бы таких – благостных и умиротворенных.

Поленья в печи почти прогорели, рассыпавшись ярким жаром углей. Я снова поторкал кочергой остатки головёшек и загрёб их на верх золотисто-рубиновой кучи. Сейчас можно было ставить и чайник. Подцепил его рогом ухвата за бывшую когда-то эмалированной дужку, сунул поближе к жару и прикрыл чело заслонкой. Теперь подошла пора и вьюшки прикрыть, убавить тяги, чтоб не вылетало тепло в трубу, чтоб клубился жар под печным сводом, отдавая кирпичам свою кипучую ярость.

Едва успел пройтись веником, собрать мусор под шестком и около, отправить его мягким, точно рассчитанным, а вернее практикой выверенным толчком в угол, как запыхтел помятым носом, забулькал в глубине печи чайник.

Отставил заслонку и пыхнуло в глаза жадным сухим пеклом; брызнули из-под серой плёнки пепла золотистые искорки, засветились малиновой позолотой потускнелые было



угли, взвились над ними едва видимые сполохи прозрачного синеватого пламени. Кочерёжкой подцепил и выволок на простор шестка воркочущий гневливым котом чайник, перегрёт угольную кучу, опять прикрыл чело заслонкой, затворив жару дорогу. Плеснул из рукомойника в ладонь, провёл, освежая влагой, по опалённому лицу.

Теперь можно было подумать и о завтраке. Пирогов на столе было ещё достаточно, молока в кринке тоже больше половины. Оставалось заварить чай.

Через тряпочку подхватил крышку и сыпнул в kloкочущую темень нутра пригоршню смеси из жестяной банки на припечке. И хотя и крышку бросил обратно, и укутал сверху толстой суконкой, всё равно, пробиваясь сквозь мельчайшие щели и поры, поплыл по избе густой медвяно-цветочный дух.

Не знаю уж, что было намешано в той жестянке. Как-то пытался разобраться, но понял лишь мяту с душицей, да шипишный с липовым цвет. Чай же с этой заварки получался нежного ясно-янтарного цвета и вкусом своим будил воспоминания о густо-пряных запахах спелого лета, настоящего на шелесте озёрных камышей и мирном треске зеленокрылых кузнечиков.

– Ага, вот и чаёк готов, наконец-то, – появился из-за переборки хозяин. Голос его, преувеличенно бодрый и приветливый, сразу насторожил меня. Я не ошибся, продолжение последовало тут же:

– Давай-ка, парень, пока настаивается, полечи меня малёхо, а то чегой-то познабливает после нонешней ноченьки.

– Загнёшься ведь от такого лекарства, на дворе-то не май месяц, на градуснике поди за двадцать. Давай лучше чайку попьём, а к вечеру баньку протоплю, да пропарю, – попытался я поартачиться, но с ним разве поспоришь.

– Тебе говорят, так ты слушай, – насупившись отрезал колдун и добавил, – А чай с баней само собой.

Лечение было до невероятности простым и, с моей точки зрения, по-неандертальски жестоким. Хотя, надо отдать должное, и достаточно эффективным. Утверждаю это на полном основании, потому как пару раз в этой процедуре уже успел принять участие.

Хозяин выходил во двор, сбрасывал с плеч полушубок и оставался в чём мать родила. Аки Адам, безгрешный. Босыми ногами на голой земле.

Двор я под веник выметал после каждого снегопада. Сгребал снег в кучи и вытаскивал за ворота. Ладно бы только вымести, но на самой середине двора был выложен из белого поделочного камня полуметровый круг. Эти камни эксплуататор мой заставлял в любую погоду ежедневно очищать до светлой шероховатой поверхности и посыпать речным песком. Круг этот служил колдуну для самых разнообразных целей, а в данном случае в качестве подсобного инструмента экстренной медицинской помощи.

Короче, встал он без единого лоскута на теле в центр этого

круга и замер, а я, обойдя медленно вокруг три раза, неожиданно, но медленно и степенно вылил ведро воды ему на голову. Прямо такой как есть, как с ключа принёс. А, спустя несколько мгновений, едва скатилась большая вода, оставив на плечах, скатах лопаток, выпуклые линзы прозрачных капель, наотмашь хлестнул в лицо и грудь из второго.

После такой первобытной процедуры меня бы, наверное, вынесли из дома ногами вперёд уже на другой день, а этому чёрту хоть бы что. Второе ведро словно вывело его из оцепенения. Будто норовистый коняга, мотнул кудлатой головой и громко отфыркнул влагу из ноздрей. Затем совсем позвериному вздрогнул вдруг всей кожей туловища. Вздрогнул так, что полетели в разные стороны остатки капель, соскочил с камней и, высоко поднимая колени и размахивая руками, прыжками помчался по двору. Со стороны казалось, что бежит по двору этакий журавлиный перерощенный недоносок, машет крыльями-кульятками, пытается поднять себя, да велика земная тяга, тяжела журавлиная задница.

Так и ускакал в избу, только двери спели одна за другой. Ему чего, уселся сразу к чайнику, а мне опять на ключ дорога. Ну да подождёт пока на ключ-то. Сначала чайком надо живот согреть, душу повеселить, а то и сам заколел, глядя на такое лечение.

Когда я вошёл в избу с пустыми ведрами и полушубком, хозяин уже сидел за столом в углу под портретом весь причёсанный, укутанный в махровую простыню и с шумом от-

хлёбывал из полулитровой жестяной кружки. С той поры как снял я чайник с жара и десяти минут не прошло, в кружке-то, считай, крутой кипяток, у другого бы кожа с языка чулком сошла, а этому хоть бы что. Знай себе шлычкает, сдувая пар, да глотает будто мерин, так что в горле гулко клёкает. Ещё и мне зазывающе машет рукой: садись, мол, давай, пей пока горячее, мол, тебе тоже налито.

Ну да я сам себе не враг; заварку в кружке подсластил, молоком из кринки разбавил, сделал по своему вкусу. Так, вприкуску, пирогами с чаем и позавтракали. Крошки со стола смахнул, кружки сполоснул под рукомойником. В печь заглянул, – закрывать рано, проскакивают ещё над углями синие огонёчки, не прогорело значит. Ватник на плечи, шапку на голову, а ноги давно уже в валенках. Вёдра в руки – снова на ключ по воду. Пятьсот шагов туда, пятьсот обратно, да пока наберётся ждёшь, – вот, считай, минут двадцать, а то и все полчаса. Дорога знакомая, можно под ноги не смотреть, сами ступают, так что в самый раз рассказать что это за Выселки такие, описать окрестности.

\*\*\*

Прежде всего, Выселки на всех русских языках я думаю обозначают одно и то же, а именно – выселки. Слово говорит само за себя. То есть это не что иное, как поселение. Уже не хутор, но и не деревня ещё. Зачинаются все эти выселки довольно одинаково: станет кому-нибудь тесно в деревне или в селе, с миром, там, не поладит человек или ещё какая другая

шлея под хвост, попадёт, вот и отстраивается заново где-нибудь на ближайшей пустоши в заполье. Переберётся со всеми своими чадами, домочадцами и скотинушкой, и заживёт хутором. Сын старший вырастет, свой дом поставит или ещё какой норовистый мужик из ближнего селения переберётся – два дома станет. Это уже выселки. И называют их по русскому обычаю именем первого насельника. Если, допустим, Емельян, то и выселки Емельяновы. Пройдёт время, останется от Емельяна лишь название поселения, да и само поселение разрастётся домов этак до полудесятка. А это уже, пусть и небольшая, но деревня и зваться ей Емельяновщиной.

Угадать на карте, где стоят эти Выселки на нашей с вами Земле, хозяин бы сказал «в твоей реальности», я, конечно, если очень постараться, смогу, но за точность и достоверность ручаться не буду. Видимо слишком давно, не только в человеческой истории, но и в геологических эпохах, раскололась единая наша Земля-матушка на несколько. Потому как даже реки текут хотя вроде бы в тех же направлениях, да чуть по другим, не тем, что я знаю, руслам. И лишь в очертаниях увалов, в прорисовке перспективы уходящей череды склонов их, глянет вдруг, до щемящей сердечной боли что-то близкое и родное. Проявится на миг, поманит и тут же исчезнет.

Первое время, когда стал было приходить в себя, жутко становилось от горькой тоскливой безысходности этого внезапного мимолётного узнавания, а потом притерпелось.

Большое дело привычка.

Но, вернёмся к Выселкам. Дома здесь отстроены между речным берегом и опушкой поскотины. Поскотина – ближний к селу реденький лесок, где селяне пасут общественную скотину. Тоже достаточно русское слово, обозначающее везде одно и то же. А вот река, здешняя Белянка, на нашей Земле называлась Белой. И нет на нашей Земле никаких Выселков в этом месте. Поскотина есть, речка, переплюнуть можно, есть, а между ними, сколько себя помню, всю жизнь было пахотное колхозное поле. Хотя, с другой стороны, всегда, как только начал маленько понимать мир, удивляло – ну какой же мудака пашет пойму реки. Выселки же, там откуда я пришёл, стояли совсем в другом месте, и тоже состояли когда-то из трёх домов. Вернее дворов.

Как я уже оговорился, дворов на здешних выселках было, пусть и с оговоркой, целых три штуки. С оговоркой, потому как настоящих хозяйских усадеб, с рублеными домами-пятистенками, разделёнными сенями-мостами на зимние тёплые половины и летние клетки, с высокими тесовыми воротами и множеством самых разнообразных амбаров, хлебов, сараюшек и просто дровяных навесов по периметру раздольного двора, было отстроено всего две. А именно: наш, вернее моего хозяина-колдуна, и Василия Ездакова. Разграниченные широкой лужайкой площади, они делили Выселки на две части: лесную ездаковскую и речную нашу.

Третья усадьба на Выселках тоже была с нашей, речной

стороны. Совсем на отшибе, прямо на мысу, между крутым речным берегом и обрывом оврага с ниткой ключа на дне, стояла изба, в непосредственной близости от скатов, так, что не только не оставалось места для двора, но даже и для элементарных сеней с крытым крылечком. Того и гляди, в темноте или даже по светлу, по нетрезвому делу загремишь косями по крутым склонам вниз, в урёмистую непролазь ивняковой да шипишной переплети.

Я, было, сунулся к Ездакову с любопытством, кто и когда поставил из неподъёмных брёвен почти в обхват, эту неказистую избёнку в одну комнату и для каких таких дачных надобностей, да тот лишь головой мотнул, поди, мол, своего колдуна поспрошай.

Я поставил вёдра на лавку возле рукомойника, скинул фуфайку и заглянул на хозяйскую половину. Никифорыч лежал на кушетке, укрытый по горло мохнатым пледом из каких-то мягких пушистых шкур, и сквозь тонкие стёкла пенсне разглядывал страницы книги. Ну, к пенсне я уже привык. Хотя прибор этот, с ядовито-хрустальным высверком шлифовки линз в тонкой оправе из чистого пробного золота, изящной системой прищепок, которыми крепились эти змеиные окуляры к горбу переносицы, с золотой же тканью шнура на правом ухе, малость нелеповато смотрелся на разбойничье-ухарской роже чародейца. Примерно как если бы кто под впечатлением неуёмно-горячечного бреда, в припадке своеобразного юмора, взял да и пришпандорил к передку кол-

хозной волокуши приборный щиток с рулевой колонкой от девятисотой модели «Сааба». Таково было моё самое первое впечатление. Потом привык, и стало казаться, что так и должно быть, именно так, и никак иначе, а почему бы и нет, но книгу эту я видел впервые.

Не осмелюсь утверждать, что знаю все книги в хозяйской библиотеке, их там пожалуй поболее тысячи, а может и все две, но заявляю с полной ответственностью, что эту здесь раньше не встречал. Да и впрямь, не заметить её среди прочих, хотя ради справедливости надо отметить, что всяческих раритетных диковинок там немало, мог лишь совсем слепой или душевно-равнодушный. Толстые корки переплёта, одетые в синеватую сафьяновую зелень, по краям скреплены были окладом из жёлтого, жирного на вид, металла и снабжены витиеватой застёжкой в виде круглого лёгкого щита. По корешку и щекам переплёта, сплетаясь с вензелями оклада, вились прихотливые арабески орнамента и букв, арабских естественно, из тускловатого, тронутого чернью времени, серебра. Словом, этакий фолиант я бы, без сомнения, углядел даже в третьем, самом заставленном ряду.

При виде этой книги у меня мгновенно, я думаю поймёте и не осудите, совершенно напрочь испарились из головы не только мысли о той халупе на краю Выселков, но и само её присутствие над ключевым оврагом. Я уже было потянул руку, чтобы самому ощутить священный трепет перед древней тяжестью веков, проведя подушечками пальцев по желтова-



той твёрдости пергамента, осязая шероховатую выпуклость краски в затейливой вязи рукописной строки, да колдун мой строго поднял палец, как бы призывая к тишине и смирению.

Он осторожно отцепил пенсне, сунул это произведение искусства в замшевый чехольчик с замочком-щипчиками, как у обыденного кошелька, и аккуратно угнездил на журнальном столике в изголовьях. Привыкаяще поморгал глазами, как бы заново настраивая зрение. Я, естественно, давно предполагал, что зрение у него отменное: хоть за горизонт, хоть на кончик собственного носа, что все эти причиндалы, вроде анемично-аристократических окуляров, серебряных щипчиков в сахарнице, которая сроду не видала кускового сахара, а лишь одну песочную россыпь, или ножа для резки бумаги, полностью выточенного, что тонкое лезвие с углами магических символов, что тщательная рукоять в форме покойно сидящего грифа, из дорогой жёлтой кости, как, впрочем, и множество других самых разнообразных штучек-дрючек, нужны ему лишь для форсу. Для создания каких-то, может, конечно, и дорогих владельцу, но совершенно непонятных окружающим видеорядов и образов. Так я к этим безделушкам и относился: снисходительно, но, уважая своего хозяина, а следовательно и его причуды, бережно. И считаю себя на то полностью морально правым.

Взять, допустим, ту же человеческую голову, вернее череп. Череп тот человеческий, вырезанный из единого куска чёрного кварца мориона величиной с два мужицких кулака, сто-

ял на зелёном сукне письменного стола...

Хотя с черепом этим, я, пожалуй, перегнул, Эту вещь безделушкой не назовешь. Да и вещь-то поименовать язык поворачивается с трудом, потому как чувствовалась за высокой лобной костью тяжесть таинственного интеллекта, чуждого повседневному человеческому сознанию. Обозвал вот костью, живой материей, зеркальную прозрачность чёрного хрусталя и не ощущаю в том противоречия, ибо и сам некоторое время угадываю уже упругость энергетики, исходящую из этого чёрного нечто, ибо воочию видел однажды ночью, как засветилась вдруг холодным фиолетовым пламенем полированная гладь высокого чела, вспыхнули зеленью, обозначившись провалами, впадины глазниц, а по костяшкам зубных пластинок проскочила золотисто-красная искорка. Словно скользнул по гладким клавишам пианино отсвет лёгкого пламени тонкой восковой свечи.

Вспыхнула голова, жутковатым светом нездешнего разума и погасла. Наутро я даже начал сомневаться: а был ли мальчик, не привиделась ли вся эта бесовщина в очередном ужастике с открытыми глазами. Но пропали сомнения, тут же исчезли, не успев даже как следует и оформиться, осталось только твёрдое, уверенное: было! Было это, осталось до сих пор и стоит на страже, как часовой солдат на посту номер первом.

Хозяин поднял палец, призывая меня к молчаливому послушанию.

– Изложение о женщинах, с которыми не стоит входить в близость, а тем более жениться, – провещал он утробой, и меня ни мало не обескуражил тот факт, что прихотливую рукопись арабской древней вязи разбирает он так же легко и свободно как, допустим, нормальный книжно-газетный русский текст, отпечатанный в гарнитуре «Таймс» кеглем десятого номера. Я от него видывал штучки и похлеще. Хотя, помня о пристрастии его к театральности и любви к сценическим эффектам, можно было предположить, что порет чудодеец очередную отсебятину. Но уж больно гладко, чётко и складно это у него получалось, то есть или выучил текст наизусть, или и впрямь знает язык и письмо до свободного беглого чтения.

– Знай же, – с пафосом продекламировал он дальше и снова взмахнул пальцем будто дирижёр палочкой, – женщина, которая глубоко вдыхает и тяжело выдыхает, и много спит, и часто делает совокупления, женщина плохого поведения, и слишком высокая, и с отвислым животом, и с кошачьими глазами; и женщина, что, ступая по земле, издаёт стук; и женщина наглая и бесстыдная, злая и сладострастная; и женщина плотоядная и не считающая это грехом; и женщина, на которую люди совершенно не обращают внимания; и женщина, у которой глаза напоминают глаза ворона; и женщина, что сопровождает мужчин и видит всякое, а на лице её и языке её не остаётся и намёка на стыд; и женщина, что непременно ссорится с мужем и пытается бить его; и жен-

щина обжора и лежебока; и женщина, что дружит с красивыми и статными подругами, но занимается прелюбодеянием; и женщина, которая ходит в публичные места или часто беседует со злонравными женщинами – знай же, все эти женщины надели одежду греха и покинули комнату женской чести, а порочностью своей напоминают пожирателей собственного дерьма.

Следует помнить, что мужчина не должен желать таких женщин и, тем более, брать их в жёны, дабы не умножать скверну семенем своим! – хозяин в очередной, раз взметнул пальцем и свирепо глянул на меня поверх зелени сафьяна.

Я молчал, да и о чём тут было говорить, ведь прочитанное меня совершенно не касалось. По крайней мере в тех кусках моей жизни, которые я помнил отчётливо или предполагал, что отчётливо и досконально помню. Так что в ответ на вызывающую его свирепость я лишь недоуменно пожал плечами, как бы говоря: всё, мол, это очень интересно и любопытно, только я-то тут с которой стороны пристяжка?

Никифорыч снова глянул на меня поверх переплёта, но уже сожалеюще-снисходительно, как смотрит отец на неразумное, заплутавшее в своей непроходимой глупости, пусть и не очень любимое, но всё-таки родное дитя и продолжил:

– Удивляешься, поди, возгера, к чему, мол, это гнёт, пень трухлявый? А всё проще пареной репы: ну, как в очередной раз подвернётся тебе под руку этакая Скоропея в юбке: ни вязея, ни печея, а толчея да мелея, вспомнишь тогда, добро-

го дяденьку Никифоровича.

Возгерю можно было перевести как сопляк, хотя более точным определением было бы слово сопеля. Тоже достаточно пренебрежительно, но всё-таки с некоторым оттенком приятия. Как бы нечто среднее между уничижительным сопляк и дружественно-родственным земляк. Вот и понимай тут как хочешь, но повод для обиды несомненно наличествовал.

Можно было бы, конечно, за сопелю-то, брошенное сорокалетнему мужику и оскорбиться, повернуться и выйти молча, и топить ли баню, собирать ли на стол, парить ли этого старого пердуна, без радости охаживая по костлявому крупу можжевельновыми ветвями, – всё без разговоров, односложно отвечая «Да» иль «Нет» лишь на вопросы в лоб, не ответить на которые было бы элементарной вызывающей невежливостью, и особенно молчать за послебанным ритуальным чаепитием, отсутствующе отводя взгляд в показной взлелеянной обиде. Да уж больно выглядело всё это по-детски и было совершенно не в моём характере.

Любой другой за сопелю, даже нечаянную, тут же получил бы по сусалам, утёр бы хлебальник собственными кровавыми соплями. С другой стороны, не бить же хозяина по роже за ненарошное, ласково брошенное слово. Но и оставить так, смолчать, проглотить не заметив, было противно моей натуре, потому я в ответ буркнул достаточно угрюмо:

– А сам-то.

Какой такой сам, пусть решает самостоятельно, потому

как в эту реплику можно было вместить всё что угодно от дружелюбно-восхищённого «засранец» до убийственного «мудак-рогоносец». Хозяин же моих слов как будто и не заметил, слева направо, как и полагается при чтении книг, изданных в странах третьего, мусульманского, мира, перелистнул страницу и продолжил:

– А вот изложение о женщинах, с которым можно входить в близость и жениться на них. Женщина, у которой приятный характер и нежное тело, – зачастил он скорым говорковым речитативом, – женщина приветливая, и улыбающаяся, и милосердная, и гостеприимная, и добронравная; женщина, содержащая себя и одежду в опрятности, и имеющая на руках линии судьбы, и круглоглазая; женщина, которая мало ест, мало спит, и постоянно поклоняется Всевышнему, и слушается мужа и никогда не укоряет его; та, что днём и ночью содержит в порядке дом, а по уходе мужа убирает постель и приводит в чистоту комнаты; женщина, просыпающаяся раньше мужа, стыдливая и любезная, с открытой душой; женщина, что дружит с благовониями и цветами; та, которая во время странствий мужа предаётся молитвам; та, что в отсутствие мужа уменьшает траты на хлеб и питание, – знай же, такая женщина может быть женой любого человека, становится любимой и непременно осчастливит мужа, её приход принесёт в дом счастье и богатство.

Китаб у лаззат ун-нисса, – последние слова были произнесены певучей скороговоркой с клёкотом гортанного при-

дыхания. — Персия, — добавил колдун значительно, закрыл книгу, положил её на грудь и затих, смежив веки.

Хозяин лежал молча и я ему не мешал, стоял тихонько у двери и ждал продолжения. В том, что продолжение непременно последует, я не сомневался ни единой секундочки. И, как обычно, не ошибся.

Никифорович дёрнул кудлатой головой, вытаращил глаза и опять выкинул в мою сторону указательный палец.

— А вот и женщина, та самая! — зловеще прошипел он, словно читая роль записного злодея на сцене сельского кружка самодеятельной драмы. Прошипел и затих, выставив ухо и вслушиваясь во что-то, слышимое ему одному.

Я не стал спрашивать, которая из них та самая: та самая, которую можно, или та самая, на которой не стоит, а тоже притаил дыхание, вслушиваясь за стены избы.

За окнами было тихо, но изба продолжала жить своей обыденной жизнью. Отстукивал неутомимое время бесслесный механизм ходиков, потрескивали, накаляясь, печные кирпичи, осторожно подшебуршивало что-то в запечье, как будто мышонок трудился над зачичеверелой до калёной су-харной крепости корочкой ржаного хлеба. Да мышонок и был, кому другому ещё шуршать в нашем запечье, не домовому же, разве ж уживётся нормальный домовый в одной хате с владельцем страхолюдного чёрного черепа. Буди какой припадошный забежит.

Пискнула дверца в тереме часов-ходиков на стене, выгля-

нула облезлая кукушка, без звука пролаяла одиннадцать раз и унырнула обратно, сердито захлопнув окошко. Тоже колдунище обидел – лишил птицу голоса, мешает видите ли, ему, будит по ночам.

Все эти поскрипывания, попискивания, пошурхивания были родными, не выделяемыми ухом звуками, теми самыми шорохами и скрипами, из которых и бывает соткано полотно тишины в деревенской мирной избе. И пропади они вдруг, думаю, да что там думаю, абсолютно уверен, исчезли бы и душевные покой и лад обитателей этого дома, ведь и тишина стала бы совершенно другой; гнетуще-тягостной и зловещей, той самой, что получила название гробовой – душной и безысходной.

Так было с минуту, а может и меньше, может секунд пять всего, просто показались они очень долгими, как это всегда бывает в напряжении ожидания. Но вот, указующий перст чародейца торжествующе вздрогнул, стукнула щеколда калитки ворот, прохрустел снег во дворе под быстрыми лёгкими шагами, зашелестел веник на ступеньках крыльца.

При первом же скрипе ворот, Никифорыч метнул себя на бок, лицом к переборке и, натянув своё шкурное покрывало по самые уши, протяжно, с лёгким присвистом всхрипнул, как бы давая мне знать, что из следующего акта этой разыгрываемой драмы, комедии, водевиля ли, себя он исключает совершенно. Нету и всё тут.

Значит действующим лицом оставался только я и в све-



те доведённой недавно высокой мудрости Древнего Востока, элементарно не представлял что делать и как вести себя дальше. Но лишь собрался было просто выйти на кухню и встретить гостя или гостью, кто бы там ни пришёл, обычным радушным: «здравствуйте, проходите, садитесь», как чародей махнул из-под покрывала рукой и прошипел что-то сквозь зубы. Я понял его жест как приказ спрятаться и нишкнуть. Затаиться, и ни гу-гу.

Прятаться достойно времени не оставалось, так как гость давно вытер подошвы валенок о прутья голика, проскрипел половицами сеней и уже тянул на себя ручку входной двери. Пока дверь распахивалась, пропуская визитёра, пока закрывалась следом, я уже стоял в тёмном закутке запечья, отделённый от неожиданного пришельца какими-то метром с четвертью пространства да щелястой перегородкой из струганной дюймовки.

– Дома ли хозяйева, – с ударением на последний слог, так что получилось певуче протяжно, раздалось у меня почти возле самого уха, и я без особого удивления узнал старшую ездаковскую дочку.

Что-то слишком часто стал я возвращаться мыслями к этой девице, хотя оно и понятно, учитывая ту роль, что сыграла она в моей жизни, став своеобразной крёстной матерью, и не удивительно, – видная девка, статная. Мимо пройдёт, поведёт глазищами, в душу будто зноем полдня пахнет, и не хочешь, да обернёшься вслед, очумело уставишься в гибкую

спину.

Да ладно бы коль глянул и забыл, так ведь нет. Пройдёт, зараза, глянет, а у меня потом весь день из рук работа валится. Образно, конечно, говорю. Из рук у меня хрен чего выпадет, но сосредоточиться ни на чём не могу, всё она мешается. Опять немного не то, знамо дело, не писатель – кроме как на школьные сочинения, автобиографии да письма из армии бумаги сроду не марал.

Словом, что бы я ни делал, чем бы ни занимался, она всё время рядом, где-то тут, за плечом, стоит, смотрит и молчит. И, вроде бы, когда она тут, на душе легче, светлее, что ли. Наркотик какой-то: морфий или конопля там, для отдельно взятой личности, – тоже ходишь блаженненьким. Дурь, одним словом, иначе и не назовёшь.

Может оно бы и ничего, когда б в меру: раз в неделю, там, или дважды в месяц, так ведь она ежедневно дорогу переходит и каждый раз норовит глазищами ожечь. Со двора, было, по три дня не выходил, на ключ, так только до свету, но ведь она, стервозина, найдёт предлог, припрётся как вот ныне, и здесь достанет. Сдаётся мне, что роль спасительницы и крёстной ее никак не устраивает, похоже, ей совсем другое надо.

Играет, ровно с приятелем, а я ведь мужик, живой пока, хоть забыл уже как они, бабы-то, пахнут. И надо бы охолодить девицу, чтоб не баловала, не шутила с огнём, ведь мы с отцом её почти что ровесники, да честно говоря, не хочется.

Не желаю наступать себе очередной раз на горло, лишать себя последнего светлого лучика. Да и боязно как-то, – хуже бы не вышло. Я ведь, как ни-как посторонний. Не только здесь, на Выселках, но и вообще на этой Земле, в этом времени, в этой реальности.

Посторонний, а если говорить прямо – чужой. И некуда мне податься. Жизнь дала трещину, да что там трещину, – обрыв, пропасть. Обрыв, пожалуй, точнее. До обрыва, – всё что имеет нормальный среднестатистический гражданин общества, за три с лишним десятка лет сознательной жизни. После – недоумение и память. Причём недоумения – девять десятых, а памяти с гулькин хрен.

И не видно выхода. Ни выхода, ни вылета, ни выезда, Сижу на этих драных Выселках у колдуна в рабочих и в село лишний раз боюсь нос высунуть, а ну как участковый привяжется. Хотя, участковый, если б захотел или задание соответствующее имел, давно бы наведалься, поинтересовался, документики спросил. Вон, на последней ездаковской охоте в начале декабря милицейский районный начальник собственноручно мне водку наливал, за, так сказать, егерские способности и усердие. Так что знают про моё существование, но не интересуются ни участковый, ни советские власти. Видно не желают признавать наличия. Принять как личность на территории своего влияния. Я для них даже не букашка, так, фантом, призрак, – то чего нет и быть не может, потому что не бывает никогда. Какие у призрака документы, с него

и анализов не возьмёшь.

Шучу я так с тоски, хотя какие могут быть шутки в моём положении, документов-то и вправду никаких, ни малюсенького клочка бумажки. А нет документов – и человека нет. Нет и не было. Случись что, ни один Красный Крест не сыщет, какие уж тут шутки.

Шучу, а, самому взвыть хочется и башкой в печку колошматить. Вот проблема почище ездаковской дочки. Та хоть просто стоит за плечом и светит, а эта и долбит, и ноет, и свербит. С какой такой болести именно со мной приключилась эта оказия? Почему другие блажат и хоть бы прыщик вскочил на заднице? Меня-то с какой стати угораздило в этот театр, именно театр, потому как происходящее всё больше напоминало зрелищное действо, словно кто-то там, наверху, из заоблачных отстранённых сияний, разыгрывал с моим непосредственным участием на самодеятельной сельской сцене водевиль, комедию, а скорее всего – драму. Драму моей конкретной персональной, и, к моему глубокому прискорбию, единственной и неповторимой жизни.

– Юрий Никифорович, мамка вам рыбника послала, из налимов, что вы вчера с жильцом-то вашим передали, – донеслось уже от занавески, что закрывала проход в эту половину и я плотнее вжался в угол между печью и заборкой. Ступи она пару шагов внутрь, обернись, и наши глаза встретятся. Немая сцена, как говорится. Режиссёрску бы бабушкину мать за ногу! Прятки-загадки!

Колдун в ответ пустил носом руладу, напоминающую эхо густого свистка отдалённой паровой сирены и сладко почмокал губами. Словом продолжал вести свою роль на самом высоком уровне актёрского мастерства. Дочка же ездовская, да и что с неё, девчонки, взять, свою играло гораздо слабее.

– Спит, – протяжно и отстранённо выдохнула она, в сторону.

Это самое «спит», отрешённо опущенное в пространство прозвучало точь в точь так же как если бы на сцене один актёр потормошив другого за плечо, вышел бы к зрителям и объявил в полупустой зал: «Спит» или «Умер».

Колдун в ответ на эту реплику ещё раз пучкнул губами. Передвигалась эта девица тихо, будто кошка на охоте, потому что не успело опуститься на пол это самое «спит», как на кухонном столе зашуршала бумага и мягко шоркнула тряпка по доскам столешницы, Звуки эти были постижимы и вполне мне понятны: протёрла стол тряпкой, видно решила, что не очень чисто прибрано после нашей пироговой трапезы, и положила завёрнутый в газету рыбак. Ясное дело: девка, она девка и есть, – потенциальная баба, – страсть к порядку и опрятности всосалась в кровь с молоком матери, – подумал я и вспомнил, что оставил расшитую петухами холщёвую рединку, в которой колдун принёс ночные пироги, прямо там, на краю стола. Не то что бы это был какой-то уж очень жуткий криминал, знала ведь, где и возле кого остави-

ла, но всё равно мне стало немножко неприятно. Самую малость, но неудобно, стыдновато как-то, и я наострил уши, пытаясь хотя бы слухом выстроить ход её действий.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.